

Пролог

Темнота пахла как-то... неправильно. В типично питерский «букет» – плюш, старое дерево и паркетная мастика – раздражающе врезалась тяжелая, тошнотворно чуждая струя. Словно в антикварный магазин втиснули мясной прилавок.

Денис попытался открыть глаза. Что-то было не так. Голова была странно пустой, но при этом ужасно тяжелой – как будто вчера он выпил не бокал сухого вина, а бутылку скверного самогона. Вдобавок что-то мешало правой руке. Денис пошевелил пальцами: что-то твердое, длинное и – ах ты, черт! – острое. Нож? Откуда в постели нож?

Мерзкий запах лез в ноздри. Может, мерецится? Денис скосил глаза...

Льющийся из окна полусумрак не столько освещал, сколько скрывал окружающее. На смятой гостиничной постели рядом с Денисом лежала девушка. Тихая, красивая, бледная до синевы. Как вампир. И с вампирской же кровавой улыбкой. Правда, улыбка располагалась почему-то ниже, чем нужно... В плотно сомкнутых девичьих губах не осталось, кажется, ни капельки крови, они были бесцветны, почти незаметны, а под хрупким подбородком разверзлась гигантская, что называется, от уха до уха, жуткая «ухмылка», из которой очень по-вампирски вытекали тягучие темно-багровые потоки...

Часть первая

Точка невозврата

Юля

Санкт-Петербург – Уфа – Инзер

– Папа, как ты не можешь понять? Я тоже хочу счастья! – Юля резко, словно подброшенная неведомой пружиной, поднялась с кресла и стремительно зашагала по комнате из угла в угол. Но вдруг девушка остановилась, сделала глубокий вдох, расслабляя сжатые кулаки.

Гнев чрезвычайно ей шел. Смугловатый румянец горел на высоких скулах, глаза под бровями вразлет сверкали серо-голубым льдистым пламенем, ноздри тонкого носа раздувались – если бы не идеально облегающий стройное тело, но безнадежно деловой костюм, то прямо Диана-охотница¹, а не какая-то там Юля! Она не любила свое имя. Юлия Андреевна – еще ничего, но вот Юля – нечто бесформенное, почти бесцветное, вроде медузы. А уж Юлечка... как люлечка, тьфу! Она всегда завидовала сестре Насте – вот имя как имя, а у нее... хуже только Ляля какая-нибудь.

Муж, еще до брака, когда они только познакомились, сразу начал называть ее Юла – с ударением на первый слог. Это звучало так экзотично, так возвыщенно, так изысканно, что Юля начинала себя чувствовать как минимум Галой Сальвадора Дали. Впрочем, это в ее финэке – ленинградском финансово-экономическом – были сплошь сугубо прозаические, как и она сама, Вадики, Коли и Наташи. В богемной компании Алексея (звавшегося, по неведомым причинам, Шерифом) Катя становилась Кэтрин, Костю почему-то звали Бонсом, Ваня был непременно Джонни или хотя бы Яном, Оля – Хельгой или Оллой, даже простецкая Наташа превращалась в загадочную Тати. Да и компания была постарше Юлиных однокашников, никаких студентов, все сплошь готовые гении, хотя и непризнанные. А некоторым кусочек признания уже обломился. Алексей, к примеру, числился автором двух довольно популярных песенок и пары-тройки «концептуальных», как они выражались, оркестровок классики, Бонс время от времени концертировал, все в каких-то мрачных подвалах, про Шушунчик (вообще-то Дашу) говорили, что ей Губайдуллина в подметки не годится. От мамы, учительницы музыки, Юля впитала чувство восторженного преклонения перед властителями звуков, так что иногда потом ей казалось, что она влюбилась тогда вовсе не в Алексея, а сразу во всю его

¹ Диана – богиня растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия. (Прим
ред.)

компанию, в атмосферу богемности, избранности, почти божественности. Они были Творцы, Моцарты, их ждал музыкальный Олимп. Ее Лешеньку уж точно: отрывки симфонии, над которыми он работал, казались Юле абсолютно непонятными, не похожими ни на что из того, что привычно было с детства, а значит, были настоящим прорывом, подлинным новым словом в музыке. Собственно симфонию (или, быть может, это будет какая-то абсолютно новая музыкальная форма, ведь симфония – это старье, это скучно) будут исполнять в лучших концертных залах, о ней будут рассказывать в музыкальных школах – «это произведение конца XX века стало поворотным этапом в творчестве...» – так же, как ее мама рассказывала своим ученикам о Бахе и Вагнере.

Жаль, мамы нет давным-давно, она только и успела, что дочек замуж выдать, даже до внуков не дожила.

А великая симфония Лешенькина так и осталась лежать в набросках, так же, как прочие «шедевры». Оперы, мюзиклы, концерты, оратории... Нет, ты послушай, какая тема, ты послушай, всего одиннадцать нот, а ведь до слез пробирает!.. а, что б ты понимала! – говорил часто Алексей. Юля через несколько лет действительно перестала прислушиваться к «шедевральным идеям». Гладила ненаглядного по голове, говорила, что да, гениально, что надо продолжать, что творческий кризис – это временно... но – вслушиваться? Лешенька столько твердил, что Юля ничего не понимает в музыке, что она и сама в это поверила. Он – гений, ее же счастье – в заботе о том, чтобы гений мог спокойно работать. Вот Юля и старалась.

Ах, как она старалась! Чтобы не обременять любимого (как все «гении», он не снисходил до пошлого быта, полагая, что еда и чистые рубашки должны появляться сами собой, творческой личности неприлично обременять себя столь низменными заботами), девушка варила суп из топора и проявляла чудеса изобретательности, пытаясь совместить расходы с почти нулевыми доходами. Экономист она, в конце концов, или кто? Когда родилась дочь Машка, в их бюджет еще капали потихонечку гонорары за два Лешкиных шлягера. Это помогало держаться на плаву, но не больше. «Флагман отечественной индустрии», где отец когда-то был ведущим специалистом и куда Юля почти с восторгом устроилась (ну и что, что простым экономистом, зато перспективы! Престиж, в конце-то концов!) после института, постепенно превратился в утлую ржавую баржу. Ну и зарплаты «экипажа» (не считая, конечно, самой верхушки, но кто и когда считал зарплаты верхушки) вполне соответствовали дряхлому виду бывшего «флагмана». Как почти везде с началом «новых времен», платили нерегулярно и не полностью.

Брат деньги у отца Юля решительно не хотела. Особого тепла между ними и так никогда не водилось, а после маминой смерти отношения и вовсе застыли, как лужи под первым морозом – вроде и есть там еще что-то живое, но виден лишь белый застывший лед, который трогать себе дороже, злые осколки изрежут до крови. Иногда, впрочем, приходилось, стиснув зубы, терпеть «вспомоществование», да еще и дочернюю благодарность изображать. Никуда не денешься. Лешенькины «шедеврики» скоро сменились другими такими же однодневками, так что ручеек гонораров, и поначалу-то не слишком обильный, через пару-тройку лет и вовсе иссяк. Редкие концерты – о да, его еще куда-то приглашали! – в заштатных клубах оплачивались, как правило, послеконцертным банкетом, где скучной снеди хватало на пару раз закусить, зато спиртное там текло реками. Юля выбивалась из сил, чтобы хоть что-то заработать, бралась вести бухгалтерию для разнообразных мелких контор, плодившихся с приходом «новых времен», как грибы, и с тоской наблюдала, как ее «моцарт» превращается в невзрачного лысоватого мужчинку с пивным брюшком и тусклыми глазами. Временами он еще бренчал что-то на расстроенном пианино, но все чаще предпочитал клавишам кнопки телевизионного пульта: «Отстань, мне под телевизор лучше думается!» Или уезжал к приятелям «расписать пульку». Возвращался за полночь, спотыкаясь, громыхая, сбивая с вешалки пальто и куртки. Как-то раз заснул, расшнуровывая ботинки – так устал. Иногда добирался и до пианино – это означало, что по дороге его осенило вдохновение. К

счастью, рядом с пианино стоял диван, поэтому вдохновения хватало не больше чем на два-три тычка в клавиши.

Она не помнила, где читала – или, может, рассказывал кто-то – про «точку невозврата», «точку принятия решения»: если ее перевалить, дальше можно лететь только вперед, назад не повернешь, горючего не хватит. Глядя, как неверные пальцы мужа пьяно тычутся в клавиши, Юля понимала: Лешина точка невозврата давно пройдена. Был гений, да весь вышел. А у нее на руках – двое иждивенцев, которых хочешь не хочешь надо содержать, и содержать на более-менее приличном уровне. Иначе она сама себя уважать перестанет. Ну да ладно, контор, нуждающихся в услугах экономиста (Юля называла их «делянками», напевая «раз делянка, два делянка, будет денежка»), на ее век хватит, хватило бы только сил. Вспыхнувшую было как-то раз мысль о разводе она подавила мгновенно и безжалостно: дочери нужен отец. Маша, к Юлину немалому удивлению, отлично ладила и с отцом, и с дедом, могла о чем-то – пусть хоть о телепередачах – подолгу с ними болтать. Поэтому – никаких разводов, хоть три «точки невозврата» пройдены, но даже такой отец лучше, чем шипящее по-змеиному слово «безотцовщина». Юля и сама не могла бы сказать, почему ее так пугает это нелепое слово.

Дни потянулись, как годы – однообразные и безрадостные: работа, кухня, стирка, редкие поездки к морю – ребенку нужно солнце и витамины – и снова работа до мушек в глазах: финансовые планы, отчеты, дебет, кредит, аудит... Редкие встречи с отцом и сестрой: расправить плечи, надеть на лицо бодрую улыбку и всеми силами демонстрировать, что у тебя все в порядке, что ты, страшно сказать, счастлива.

– Я тоже имею право на счастье! – упрямо повторила Юля.

– Юлечка, доченька, остановись, одумайся! – Андрей Петрович выпрямился, качнувшись в кресле-качалке.

Юля привычно передернулась от «Юлечки», но прерывать отца не стала: миллион раз уже просила так себя не называть, бесполезно. Только поморщилась и промолчала.

– У тебя муж, ребенок, у тебя крепкая семья, такая, о какой мечтает каждый нормальный человек, – продолжал бубнить хорошо поставленный, без малейшего старческого дребезжания отцовский голос. – У тебя есть все для полноценной жизни счастливой женщины.

– Пап, ты сам-то себя слышишь? – устало усмехнулась Юля. – Полноценная жизнь счастливой женщины! С ума сойти! Оглянись, ты дома в кресле сидишь, а не с трибуны вешаешь. Еще пару фраз в таком духе, и должны следовать «бурные, долго не смолкающие аплодисменты». Почему ты всю жизнь разговариваешь так, словно в расчете на эти самые «не смолкающие аплодисменты»? Вот сейчас ты с кем говоришь? С группой товарищей? Или все-таки с дочерью? – она поморщилась. – Да где там! Ты же у нас знаешь рецепт счастья! Делай все по правилам, и будет полное счастье! Но оно не подчиняется железобетонным правилам. Оно живое, понимаешь? Но ты, разумеется, убежден, что на меня просто блажь нашла, так ведь?

– Ты не права, – отец обиженно поджал губы. – Я всегда старался защитить тебя и Настю, устроить, обезопасить вашу жизнь.

– Обезопасить? – Юля всплеснула руками. – От чего, боже мой? Чего мне бояться? На кой черт мне сдалась эта безопасность?! Ты слепой, если считаешь, что у нас крепкая семья. У нас вообще давно нет никакой семьи, хоть это ты можешь понять?! И никаких «нас» тоже давным-давно нет. Машка уже совершенолетняя, самостоятельная. Муж, говоришь? Мой муж объелся груш! У меня нет больше сил на него любоваться и пылинки сдувать, мне самой скоро сорок – и что? Пустота. Вакуум. Космический такой вакуум. Ледяной. Но я-то живая, я женщина, в конце-то концов! А поняла это лишь сейчас, на исходе третьего десятка.

– Юлечка, я понимаю, у тебя сейчас трудный период. – Андрей Петрович покашлял и опустил глаза. – Поэтому тебе хочется все переделать.

Юля сдвинула брови, не понимая, а потом вдруг расхохоталась:

– Что?! Ты думаешь... Если ты про климакс, то мне, к счастью, до него еще далеко. Я даже родить еще вполне могу. Если надумаю.

– Р-родить? – пробормотал отец с таким недоумением, словно дочь сообщила ему, что может, к примеру, ходить по потолку.

– А что тебя так удивляет? – Она пожала плечами, чувствуя, что и на этот раз разговор завершится ничем. Боевая ничья, все остались при своих и никакого тебе взаимопонимания, ни на грош, ни на йоту. – Я абсолютно здоровая и вполне еще молодая женщина, так что никаких препятствий. Почему бы мне действительно не родить еще одного ребенка? От кого-нибудь настоящего, не такого беспомощного слизняка, как мой, с позволения сказать, муж. Уже практически бывший, напоминаю. Только, я тебя умоляю, не начинай ничего придумывать на пустом месте. Я сказала «могу, если надумаю». А я вряд ли надумаю. Мне, пойми ты уже наконец, хочется пожить для себя, получить от этой жизни удовольствие, а не сплошной поток обязанностей... полноценной женщины, – она фыркнула, как рассерженная кошка. – Естественное желание совершенно нормального человека. Но тебе, конечно, проще считать, что дело в возрастных гормональных бурях, что надо просто попить каких-нибудь чудодейственных витаминов, или что там пьют бабы в «интересном» возрасте. Ты же лучше знаешь. Ты всегда все лучше знал. – Она чувствовала, что ее понесло, хотя никакого смысла в этом не было, и бесполезно пытаться что-то объяснить, но высказаться все равно хотелось, ну вдруг до папочки хоть раз в жизни дойдет, что он вовсе не идеальный отец, каким себя мнит. – При этом даже не удосуживаясь хоть на пару минут вникнуть в наши с Настей дела. Ты с важным видом проверял в конце недели наши дневники – потому что именно так, в твоем представлении, должен себя вести заботливый отец. Ты покупал нам велосипеды – а сосед, чужой дядька, учил нас кататься и помогал ихчинить. Тебе же было некогда. Один-единственный раз ты снизошел до того, чтобы поиграть с нами в мячик. Помнишь, на даче? Покидал пять минут, все с тем же важным видом, и пошел к своим взрослым гостям, с которыми требовалось обсудить важные дела. Государственный человек! Депутат! Ты был дядькой из телевизора, Андреем Петровичем Черновым, а не папой. Но при этом ты лучше всех знал, что нужно твоим дочерям для счастья: закончить престижный вуз, выйти замуж за приличного человека, родить ребенка. И, как ты выражаяешься, жить полноценной жизнью счастливой женщины. Тебе наплевать, что я чувствую, ты уверен, что я должна слушаться, что должна быть правильной. Ведь хорошие, воспитанные дети очень украшают портрет государственного деятеля. И к матери ты так же относился. Достойная женщина, с которой не стыдно появиться на важном приеме...

– Не говори так о матери! Не смей! – Андрей Петрович дернулся, словно хотел встать. Но кресло качнулось, и он остался сидеть, только за сердце схватился.

Юля презрительно хмыкнула:

– Давиши на жалость?.. Не старайся, я все это уже видела, и не раз. Твоему сердцу не ведомы ни боль, ни счастье, ни любовь, вообще никакие человеческие чувства. Поэтому оно будет биться ровно еще очень долго. Как швейцарские часы. Пока!

Юля вылетела из квартиры, с размаху захлопнув за собой дверь.

Непредсказуемая питерская погода бросила в лицо мелкий колючий дождь, заставляя поеживаться, когда Юля вышла из подъезда. Гнев потихоньку отпускал. Наверное, не стоило так яростно спорить с отцом. Ведь почти стариk, его не переделаешь, надо было помягче, поспокойнее. Ведь неправда, что ему наплевать. По-своему он за нее беспокоится. Зря она про швейцарские часы. И про маму напрасно напомнила. Конечно, отец ее любил. Ну... как умел. Совсем один сейчас, сдал за последние годы сильно. Но все ему кажется, что он до сих пор что-то значит в жизни, если не в жизни страны, то хотя бы собственной семьи, что до сих пор что-то решает. Поэтому с ним все так нелепо и выходит, что ни слово, все невпопад. Где уж ему в Юлиной жизни разобраться, когда она сама в ней никак не разберется. Не жизнь, а горная речка – крутит, вертит, как ей вздумается, только и молись, чтоб о камни вдребезги не расшибло. В последнее время у

Юли все сравнения были оттуда, из Башкирии, хотя, казалось бы, в Питере прожила всю жизнь, а в Уфе всего ничего.

Хорошо хоть она ни о чем, кроме развода, отцу не рассказала, в запале ссоры долго ли не удержаться. Справилась. Молодец. Ну развелась она с Алексеем, все равно семья развалилась давным-давно, так что развод – логическая точка. А больше – стоп, молчок. Да и не о чем говорить. И главное – не нужно. Нельзя. Пока ничего не сказано вслух, кажется, что ничего и не происходит, что точка невозврата еще не пройдена. Порой Юле хотелось заснуть – надолго-надолго – а проснуться, когда настоящее станет прошлым. Далеким-далеким, как будто происходило все не с ней, а с какой-то другой женщиной, которую звали Юлия Андреевна Чернова. Ее тогда будут звать совсем по-другому, ну... скажем... Рената Солнцева... и никакой Юлии Черновой уже не будет. Так, смутное воспоминание.

Или впрямь остановиться? Пока не поздно? Но жизнь-река тащит неудержимо, и не день как год, а год как день, и высокое солнце зажигает волны слепящими бликами, и ледяные брызги остро колют щеки, и в подвздошье страх сладко мешается с восторгом...

Да и как остановиться? Значит, опять дни, как годы, однообразные, безрадостные и безнадежные? Еще десять, двадцать, сорок? Зачем? Чтобы убеждать себя в том, что упущенная возможность никакой такой возможностью вовсе не была, и ждать еще какой-нибудь судьбоносной встречи?